4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную кротёнку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твёрдые уши двигались от напряжений под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», – и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.



Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один – костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой – тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде – вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросячьей щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтёром. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его тёмную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядрёными, свежеколотыми берёзовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, берёзовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошёнку.

Иногда, заметив, что мальчик смущён своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

– Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе ещё подбросим. У нас насчёт харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живёт в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что ещё совсем недавно – вчера – он пробирался по страшному, холодному лесу один во всём мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь жёлтое полотно проникал ровный, весёлый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как всё было аккуратно, разумно разложено и развешано.

Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевёловых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щётки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Всё было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и лёгкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.

Зато и отдыхать после своей тяжёлой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И, хотя с утра шёл бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его – тёмное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, – было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтёр ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

– Премного благодарны. Много вами доволен.

– Может, ещё хочешь?

– Нет, сыт.

– А то мы тебе ещё один котелок можем положить, – сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. – Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

– В меня уже не лезет, – застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

– Не хочешь – как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, – сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

– Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

– Хороший харч, – сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

– Верно, хороший? – оживился Горбунов. – Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдёшь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадёшь. Будешь за нас держаться?

– Буду, – весело сказал мальчик.

– Правильно, и не пропадёшь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижём. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

– А в разведку меня, дяденька, будете брать?

– Ив разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

– Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, – с радостной готовностью сказал Ваня. – Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

– Это и дорого.

– А из автомата палить меня научите?

– Отчего же. Придёт время – научим.

– Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть, – сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

– Стрельнёшь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым долгом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

– Как это, дяденька?

– Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

– Понятно, дяденька.

– Вот как оно делается у нас, разведчиков… Погоди! Ты это куда собрался?

– Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

– Правильно приказывала, – сказал Горбунов строго. – То же самое и на военной службе.

– На военной службе швейцаров нету, – назидательно заметил справедливый Биденко.

– Однако ещё погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, – сказал Горбунов самодовольно. – Чай пить уважаешь?

– Уважаю, – сказал Ваня.

– Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! – сказал Биденко. – Пьём, конечно, внакладку, – прибавил он равнодушно. – Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник – предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в необыкновенном, сказочном мире. Всё вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещённая солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия» – вещевое, приварок, денежное, – и даже слова «свиная тушёнка», большими чёрными буквами напечатанные на кружке.

– Нравится? – спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

– Ребёнок ведь, – жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопчёнными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в неё из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые всё сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

– Наши пикируют, – заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

– Хорошо бьют, – одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчётливо послышался твёрдый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она всё усиливалась, крепчала. Её отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулемёты. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завыла, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном, механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а…».

– Пошла царица полей в атаку, – сказал Горбунов. – Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

– А нашей батареи не слыхать, – сказал он наконец.

– Да, молчит.

– Небось наш капитан выжидает.

– Это как водится. Зато потом как ахнет…

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

– Дяденька, – наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, – кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

– Эх ты!

Биденко же серьёзно сказал:

– Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошёл сержант Егоров.

– Горбунов!

– Я.

– Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

– Нашего Кузьминского?

– Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. Побыстрее.

– Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно – без единой морщинки – застлано зелёной плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесённые полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушёл. Он ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

– Ты ещё здесь? – сказал Егоров.

– Здесь, – виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

– Придётся его отправить, – сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. – Биденко!

– Я!

– Собирайся.

– Куда?

– Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

– На тебе! – сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

– Капитан Енакиев распорядился.

– А жалко. Такой шустрый мальчик.

– Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров ещё больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он ещё ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано – исполняй.

– Не положено, – ещё раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчёркивая, что вопрос решён окончательно. – Собирайся, Биденко.

– Слушаюсь.

– Ну, стало быть, так и так, – сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потёртой до глянца кобуры нагана. – Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорчённый, растерянный. Покусывая губы, обмётанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, всё было так хорошо, так прекрасно, и вдруг всё сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; вместе с ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной палатке; получить обмундирование – сапожки, гимнастёрку с погонами и пушечками на погонах, шинель… может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами…

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и всё время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашёл добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, всё стало так замечательно, когда он наконец попал в родную семью – трах! – и всего этого нет. Всё это рассеялось, как туман.

– Дяденька, – сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель, – а дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

– Приказано.

– Дяденька Егоров… товарищ сержант! Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, – сказал мальчик с отчаянием. – Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить…

– Не положено, не положено, – устало сказал Егоров. – Ну, что же ты, Биденко! Готов?

– Готов.

– Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Ещё захватите. А то наши на четыре километра вперёд продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

– Дяденька! – закричал Ваня.

– Не положено, – отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что всё кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые ещё так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об неё головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздёрнулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

– А я не поеду, – сказал мальчик дерзко.

– Небось поедешь, – добродушно сказал Биден-ко. – Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»! Посажу тебя в машину и повезу – так поедешь.

– А я всё равно убегу.

– Ну, брат, это вряд ли. От меня ещё никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался:

– Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще всё говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.